



Дизайн автора

ПРИЕЗЖАЙТЕ!

Как тысячи других командированных Штукин приехал в Москву и как, наверное, тысячи других, покончив раньше времени со всеми обязательными делами, растерялся. В Москве он бывал и раньше, но в этот раз в нем словно сдвинулось что-то да так и осталось покачиваться на самом краю того странного ощущения, что отделяет удачу от неудачи. И, сидя на металлической ограде в ожидании троллейбуса или погружаясь в теплый, по вечернему неторопливый мир метро, Штукин нес в себе оба эти состояния. Возвращался он в жалкую гостиничную общагу, где только и нашлось место, за полночь, а все остальное время просто ходил по московским улицам. Чуть в стороне от какого-то проспекта он отважился посидеть в кафе, но, не чета москвичам, что сидели вокруг него, он только и был озабочен тем, чтобы не совершить какой-нибудь промах...

На второй вечер своих бесцельных скитаний он увидел Лялина. Было поздно, и магазины уже закрывались — огромные универсальные продуктовые магазины с тяжелыми позолоченными потолками, куда Штукин тоже заходил, хотя ничего не покупал, — и вот в один из них ворвался никто иной как Стас Лялин, бывший сослуживец Штукина, рядовой, а потом, когда они расстались, младший сержант, артист ансамбля песни и пляски. Стас встрял в очередь у винного отдела и, роясь в карманах, кричал что-то через головы продавщице, называя ее "дорогая" и "милая". Штукин похлопал его по плечу — Лялин агрессивно обернулся, но тут же узнал Штукина и радостно заорал: "Старик!"

Появление Стаса Лялина стало когда-то событием в жизни их нештатного музыкального взвода. Штукин запомнил его с первого же дня, когда молодое пополнение до обеда и бани разместили в клубе: он сидел на сцене, уже подстриженный по нулевку, в старом почти до пят пальто и тельняшке, держа на коленях изящный, как из-под готовальни футляр, — там была его флейта. Он сидел и морщился, слушая, как кто-то из "стариков"-музыкантов самоуверенно гремит на пианино.

Потом он тоже часто морщился: и на репетициях, и на плацу, когда Штукин, вытащив из-под полы шинели замерзающую трубу, не вытягивал верхнее "до". Лялин был настоящим музыкантом, и все это сразу поняли. Кроме того он был джазистом или джазменом, как он сам себя называл, чем заслужил еще больший авторитет, потому что ни Диззи Гиллеспи, ни Джерри Маллигана, ни Модерн джаз квартета Джона Луиса, ни десятков других имен и составов, которые как заклинания срывались с губ Стаса, полнокровных губ флейтиста, никто не знал. Уже через неделю он где-то достал магнитофон, а через три, съездив с разрешения начальства в Мурманск, где отыскились какие-то его знакомые, — целый набор магнитофонных записей, и, закрывшись после ужина в клубе, музыкальный взвод до самого отбоя постигал премудрости свинга, би-бопа, законы импровизации.

Вместе с тем Стас оказался неисправимо гражданским человеком. Сначала это было не так заметно, и Штукин, которого Стас почему-то выбрал в приятели, как хорошую хохму рассказывал остальным об их совместных походах в Североморский Дом офицеров, где начальство позволило Стасу играть на танцах в составе эстрадного ансамбля из Клуба моряков. Дом офицеров начинался для Стаса с кафе, куда сам Штукин и заглянуть бы не

осмелился. Но Стас в первый же вечер, когда им дали увольнительные, увлек его, оторопевшего, за собой и остановил свой вольный гражданский взгляд на столике, где уже сидел какой-то подполковник. Стас долго теребил меню, громко разбирая достоинства различных блюд, наконец остановил свой выбор на люля-кебаб, заказал для них двоих и крикнул вслед удаляющейся официантке: "И, пожалуйста, чтобы лимончик был!" Не забыть Штукину, как в тот момент, крикнув, но ничего не сказав, посмотрел на них, простых солдатиков, этот подполковник.

Потом Стас играл — и от Штукина не ускользнуло, как многозначительно переглянулись морячки из ансамбля, когда Стас, отложив флейту, поднял блеснувший золотом в свете люстр тенор-саксофон, выставил подбородок и издал первый — хриплый, алчный и торжествующий звук.

Сходить на танцы Стасу удалось всего раз пять — не помогло даже покровительство молодых офицеров из политотдела — за Лялина взялся старшина роты, вознамерившийся искоренить все его гражданские "закидоны". Тогда-то Стас и загремел по внеочередным нарядам на кухню и в караул, и если бы не неожиданная перемена в его судьбе, тянуть бы ему лямку до самого дембиля где-нибудь на крайней точке их полка. Перемена же явилась в лице красивого широкоплечего нездешнего майора. О чем он беседовал о Стасом, для всех, включая Штукина оставалось тайной, так как Стас упорно отмалчивался, пока спустя месяц после этого визита в часть не пришел приказ отправить рядового Лялина в распоряжение начальника ансамбля песни и пляски Северо-Западного военного округа в город Архангельск. И Стас уехал.

Как раз накануне Штукин заступил в наряд дневальным по КПП, и утром, когда дежурный по части еще был в столовой, Стас открыл в проходную дверь, бросил на пол вещмешок и, достав из футляра флейту, "подарил" — так он выразился — мелодию. Он сыграл что-то совсем неожиданное для него, спокойное и даже грустное, и Штукин тогда впервые почувствовал, что они могли бы стать друзьями.

Стас мало изменился, разве что погрузнел, и его вечерняя рыжеватая щетина шла во всю щеку, да еще в движениях его, в манере говорить появилось что-то незаконченное, торопливое, словно он попал в затянувшуюся полосу невезения. "Сейчас ты мне будешь рассказывать", — твердил он, держа Штукина за локоть. Но рассказывать Штукину не пришлось, так как в магазине было шумно и все были возбуждены перед прилавком, да и сам он теперь был возбужден, словно мир, на который он смотрел со стороны, вдруг открылся и принял его.

Они ехали в теплом, светлом, тряске от пустоты троллейбуса, и переход от ярко освещенных улиц к безлюдным, круто поворачивающим переулкам добавлял интриги тому целенаправленному движению, в которое теперь был вовлечен Штукин. Он даже подумал, что бутылку водки Стас тоже купил ради него, и уже представлял, что они едут к каким-то людям, в чей-то домашний уют, где будут говорить разные умные интеллигентные слова, за которыми бездна иронии и не сразу улавливаемого смысла, и где, конечно же, будут девушки, нет, хотя бы одна девушка, с которой у него установится волнующий разговор как бы случайных взглядов. Они ехали по августовской полупустой Москве в опустевшем троллейбусе, и водитель только для них, наверное, объявлял своей московской акающей скороговоркой названия улиц... Наконец, когда двери, стукнув в очередной раз открылись, впусав в салон порцию вечерней прохлады, Стас вскочил и показал Штукину на выход.

Они прошли мимо высокой красивой железной ограды, за которой угадывался сад, постояли в тихой полутьме у помещения кинотеатра. Наконец из служебной двери вышла девушка, неспешно подошла к Стасу, сказала: "Ну, здравствуй", — на мгновение прижалась к нему и, отстранившись, вопросительно посмотрела на Штукина.

— Знакомься — это мой кореш, — сказал Стас, и Штукин назвал свое имя, а девушка свое, но от волнения он пропустил его мимо ушей. Стас продолжал что-то говорить ей о Штукине — она вежливо и рассеянно слушала, а потом сказала: "Ну так

что?" — и Штукину послышалось беспокойство в ее голосе.

— Пошли, — сказал Стас, положив ей руку на плечо и поворачивая ее этой рукой к выходу, и они пошли, а рядом с ними пошел Штукин. Стас не умолкал. Он рассказывал об их совместной службе, то и дело поворачиваясь за поддержкой к Штукину, но все это на едва освещенной тихой улице звучало сейчас абсолютно неправдоподобно, будто армейская служба и гражданка были совершенно разными непересекающимися мирами, которые только для него, Стаса, были одним и тем же миром, написанным нотными знаками. Штукин шел, чуть усмехаясь и стараясь вставлять точные реплики, чтобы подруга Стаса оценила их по достоинству. Удручало лишь то, что он был ниже ее, и ему приходилось до отказа выпрямляться, чуть даже не привставать на цыпочки, чтобы это было не так заметно.

— Ну что, едешь с нами? — замедлив шаги у троллейбусной остановки, спросил Стас и покосился на свою подругу. — Если, конечно, не занят...

— Нет, я наверное не смогу... — услышал Штукин свой невыносимо фальшивый тенорок. Он ждал, что его начнут упрашивать остаться ради компании, что девушка Стаса что-то скажет сейчас теплое и приветливое, но она словно не слышала его, высматривая в темноте троллейбус, и Штукин вдруг почувствовал, что она равнодушна, может, даже враждебна к нему, как к неожиданно возникшей на ровном месте помехе. Вдали обозначился троллейбус и, неуклонно надвигаясь, вызвал в Штукине паническое ощущение потери только что обретенного праздника.

— Слушай, ты где остановился? — торопливо спросил Стас. — Давай завтра встретимся, позвони утром — вот... — И Штукин машинально взял из его руки визитку, впрочем, еще более отстранившую его от них. Они заскочили в открытые двери троллейбуса, и последнее их движение за задними стеклами салона говорило о том, что они уже забыли о Штукине.

До общежития он добрался поздно, медленно разделся в темноте под безразличное ко всем его тревоблениям дыхание случайных соседей и лег.

С утра он принялся звонить Стасу, но никто не отвечал, и тогда он подумал, что Стас, наверное, ночевал по адресу своей подруги, — вот почему Штукина не пригласили... Он наспех позавтракал в чадной столовой неподалеку от общежития и снова позвонил. Стас был уже дома, но на одной ноге — заскочил, чтобы забрать флейту — ему на репетицию оркестра, но это в жилу, что Штукин позвонил, если хочет — может приехать к двум в ЦПКО — они там лабают на летней эстраде...

Около двух Штукин уже выходил из метро. Вокруг было просторно, солнечно, празднично, через Москву-реку был все тот же странный, будто сам собою висящий мост, который еще в детстве запомнился Штукину, в том самом детстве, когда они с отцом приезжали в Москву и в один из дней пришли сюда, в Центральный парк культуры и отдыха. Летняя эстрада была в дальнем конце парка, и то, что Штукин принял поначалу за музыку из радиодинамиков, оказалось на самом деле тем самым оркестром, в котором играл Стас. Штукин услышал в отдалении мощное крещендо саксофонов и тромбонов, к которым присоединились трубы, создав на несколько мгновений такой прекрасный аккорд, что от него защипало в глазах, и он побежал, боясь, что все это кончится раньше, чем он окажется там....

Его не пускали, "я к Лялину" — рвался он, тыча рукой в направлении глухо гремевшего за стенами оркестра и удивляясь, что здесь не знают никакого Лялина, — и все же он пробился и по каким-то полутемным коридорам бросился к сцене, а навстречу ему уже стали вываливать со своими инструментами оживленные, чуть ли не в майках, здоровые потные оркестранты, никак не вязавшиеся с той музыкой, которую они только что создавали.

Лялина Штукин обнаружил на сцене — Стас остался в составе квартета — флейта, контрабас, фоно, ударник. Стас сразу увидел Штукина и что-то крикнул ему, наверное,

чтобы подождать, указав на ряды кресел внизу. Штукин понимающе кивнул. Неподалеку, примерно, в пятом ряду, и не в центре, а почти с краю, сидела девушка Лялина. Она сидела, откинувшись на спинку пластмассового кресла, как бы желая еще увеличить расстояние между собой и сценой, на которой был Стас, словно музыка была ее соперницей в схватке за Стаса и еще не определилось, кто кого. Хотя спроси она Штукина, он точно бы ответил, что ее ждет. Штукин натянуто улыбнулся ей, наклонил голову в знак приветствия и, поколебавшись, решил сесть в первом ряду, там же, где остановился, но она сделала приглашающий жест, и Штукин, цепляя руками спинки кресел, двинулся к ее ряду — при этом она со странным выражением на лице, немного насмешливым и покровительственным, внимательно следила за ним, за тем, как он, смущенно и суетливо пробирается к ней, тщетно стараясь скрыть свою радость.

— Привет! — сказала она ему еще до того, как он опустился рядом, сказала почти с той же интонацией, как вчера Лялину, и Штукин осознал, что именно из-за нее он в отчаянии стучал сегодня по испорченному телефону-автомату...

Она поинтересовалась, как он добрался вчера, и поскольку больше она ни о чем не спрашивала, он тоже замолчал, боясь спугнуть это согласное молчание, в котором, как ему казалось, продолжается их разговор. Как и она, слегка откинувшись, он невидящими глазами смотрел перед собой, туда, где был Стас, в то же время плечом, всем телом своим ощущая катастрофическую близость ее женственности. Игру Стаса он не слышал, и когда тот наконец подошел, Штукин с трудом стряхнул оцепенение или точнее — очарование, владевшее им.

Они снова шли вдвоем, и он исподтишка следил за ней, пытаясь в ее смехе, в ее словах, в легких гримасках ее лица найти то, что могло относиться только к нему, Штукину, как будто пока они сидели рядом друг с другом, между ними свершился тайный сговор... В огромном, легком, светлом павильоне, где множество людей за столиками пили из больших кружек пиво, Штукин снова остался с ней один на один на некоторое время, пока Стас в стороне вел переговоры с официантом, и ощущение ее близости здесь, в переполненном зале было еще острее — мужчины посматривали на нее, и Штукин готов был защищать ее от всех. Столиков свободных не было, но затем официант принес еще стульев — и вот они уже сидели, как другие, и на столе появились тяжелые кружки с пивом а потом — большая разрезанная пополам темно-бронзовая копченая рыба, — от нее шел изумительный запах, и пиво было свежим и резким, и первый глоток был пронизывающе прекрасным... А когда Штукин затянулся дорогой заграничной сигаретой, которую предложила ему Инна, он вместе с едва уловимым ощущением того, как лицо его слегка отчуждается от него, почувствовал прямо перед собой или прямо в себе то, что и называется словом "счастье".

Они разговаривали и пили пиво и, когда кружки пустели, официант приносил новые — с нависающей над краями пышной пеной, и была еще одна рыба и у Штукина лишь на мгновение возникла мысль, что ведь этого все не бесплатно, и он незаметно проверил наличие кошелька... Он и не предполагал, что может столько выпить, и теперь гордился тем, что не пьянеет — пьет и не пьянеет, и хотя пиво и сигареты уже потеряли вкус, он продолжал пить и затягиваться дымом.

— Нет, я вас не отпускаю, — громко смеялся Штукин, когда расплатившись (Стас не позволил ему достать кошелек) они пробирались к выходу. — Пили за меня, а теперь я хочу за вас. Да, да, и не надо переглядываться. — При этих словах он несколько раз коснулся Инны, коснулся вроде как машинально, вроде занятый своими словами, коснулся вроде как только для того, чтобы показать, что и вправду не отпустит, но именно прикосновение это и было самым сокровенным словом Штукина, и на пальцах его так и остался теплится приветливо-спокойный след ее нежной, полной, обнаженной руки...

— Ну что, ладно, едем? — с извиняющейся улыбкой глянув на Инну, спросил Стас. Она рассеянно пожала плечом, и тут же Стас засвистел, захлопал в ладоши проезжающей волки с шашечками такси. Они плюхнулись на заднее сидение, а Штукин как

приглашающий, на переднее — он обернулся к ним и так и ехал, ни разу не глянув в лобовое стекло. Он впал в эйфорию, то и дело принимался смеяться, речь его лилась свободно, и сам он себе казался в эти минуты беспечным и остроумным. При этом он старался не смотреть на высоко открытые полные округлые колени Инны, а еще не замечать, что его друзья с отрешенными лицами держатся за руки, словно им приспичило немедленно заняться любовью.

Они вышли втроем на Калининском проспекте, том самом, с новыми высотными домами, и мимо швейцара, в руке которого в качестве пропуска звякнули монеты, поднялись по лестнице, по ее мягкой ковровой дорожке на второй этаж, в кафе. Там оказалось вполне прилично, даже свободно, они опустились за столик, и их словно ждали эти на белых салфетках перевернутые фужеры с тонким неподвижным светом внутри.

— Возьмем коньяк! — предложил Штукин и в ответ на быстрый сомневающийся взгляд Стаса повторил, похлопав по карману: — Возьмем, чего там.

Взяли коньяка и сухого вина, фрукты и конфеты и еще кофе-гляссе для троих — заказывал сам Штукин. В скрытых динамиках звучала любимая музыка — Фрэнк Синатра. Штукин смотрел на Инну, и при каждом взгляде на нее у него замирало сердце... Он никогда не думал, какой у него идеал женщины, но именно такая женщина, казалось ему, сидела сейчас перед ним.

Несмотря на коньяк, хмель почему-то стал быстро выветриваться, и Штукину сделалось грустно, и чем больше он смотрел на Инну, тем яснее становилось ему, что скоро все должно кончиться, а когда кончится, он снова останется один. Он вспомнил, что ночь она провела со Стасом, и искал на ее лице хоть малый след этой ночи, но не находил, что утешало его. А она — она пила, когда ей наливали, закуривала, когда подносили горящую зажигалку, осторожно вынимала из губ Стаса сигарету, чтобы стряхнуть пепел в пепельницу, она посмеивалась, когда острили, и прилежно слушала в знакомой мелодии то самое sforцандо труб, которым восхищался Стас. Она исполняла ритуал служения мужчине и при этом оставалась сама собой. В ее развитой полноватоплавной фигуре, какие бывают у пловчих, было разлито неизбывное спокойствие и тепло, и когда она однажды подняла свои мягкие загорелые руки, чтобы поправить прическу, Штукина поразила молочная голубизна ее чисто выбритых подмышек. Он попытался представить ее и себя в постели, но ничего не получилось. Он испытывал непреодолимое желание сказать ей что-то очень важное и, когда Стас, извинившись, отправился в туалет, и они — в третий раз! — остались одни, Штукин наклонился к ней и, понимая, что это невозможно, признался ей в любви.

Инна немного помолчала и произнесла мягким укоризненным голосом учительницы: — Ну так что теперь мы с этим будем делать?

Тут вернулся Стас, и Штукин заметил беспокойство в его глазах, но ему было уже все равно. Он вдруг утратил ощущение времени — оно стало то сжиматься, то растягиваться и целые его куски проходили незамеченными для Штукина. В какой-то момент он удивился, что по-прежнему сидит за столом с рюмкой в руке — это было как откровение, что жизнь не закончилась, а продолжается в определенной последовательности. Пить ему больше не хотелось, но он с усилием еще раз глотнул горькой обжигающей жидкости... Похоже, Инна и Стас, тихо поглощенные своим разговором, напрочь забыли о нем... Штукин поднял голову, словно напоминая о себе и давая понять, что он хоть и молчит, но все понимает и вполне притом адекватен. Поначалу ему показалось, что теперь он не сможет посмотреть Инне в глаза, но она была прежней, словно ничего и не случилось, и он подумал, что, может быть, ничего и не говорил — что это ему просто приснилось в мгновенном сне, который вдруг ни с того ни с сего отключает действительность, особенно, когда едешь в метро...

Впрочем, попрощались как-то скомкано и отчужденно. На улице, и это тоже было непонятно, по-прежнему и оттого бессмысленно светило солнце и продолжался день, в то время как в душе Штукина была лишь тьма, и последнее, что он отчетливо запомнил —

это свою унижительную поспешность, когда он выкладывал перед официанткой деньги.

В его комнате было пусто, окна открыты и ветер шевелил выстиранные ослепительно сияющие на солнце занавески. Он долго сидел на своей кровати, глядя на них, потом его потянуло в сон, он снял туфли и, как был в одежде, лег на кровать. Разбудила его дежурная по коридору, и в первый момент он с ужасом подумал, что опоздал на поезд, но до поезда оставалось еще три часа и Штукин стал собираться. Хотелось пить и он выпил стоящий на столике целый графин нагретой за день воды. Больше ему делать здесь было нечего и, взяв свой чемоданчик, он вышел на улицу. Он бросил взгляд на телефонную будку, но вспомнил, что телефон там сломан, а другая будка, откуда он дозвонился, была ему не по пути... Штукин долго шел пешком, потом ехал, вышел за две остановки до вокзала и снова шел, чтобы убить лишнее время. Оно теперь ему было ни к чему. Он задерживался у афиш, равнодушно размышляя о том, что лучше бы он сходил в театр или в какой-нибудь музей, — он пересмотрел карикатуры в газетах и прочел одну заметку с подзаголовком "из зала суда" — и до вокзала добрался ровно за полчаса до отхода поезда. Это был то же самый вокзал, на который он приехал неделю назад, но тогда все выглядело величественным, празднично-манящим, и не терпелось увидеть город, теперь же Штукин ничего не замечал вокруг, кроме утомительной толкотни.

Он нашел свою платформу и направился к поезду. Кто-то вдруг окликнул его и, обернувшись, Штукин увидел Стаса.

— Ну, ты даешь, старик, — запыхавшись, говорил тот. — А если бы я не вспомнил, что ты сегодня отваливаешь? Погодим, сейчас еще Инка должна подойти. Да ты как, нормалек? — спрашивал Стас, заглядывая в глаза. Он отнял у Штукина чемоданчик — стоял, нетерпеливо похлопывая им себя по колену и то и дело оглядываясь вокруг.

И все-таки Штукин увидел ее раньше, чем Стас, и в той озабоченной торопливости, с какой она приближалось, еще не замечая их, было столько простой искренности и правды, что у Штукина снова сжало сердце.

— Вот вы где, — сказала она, подходя и сразу становясь той, какой Штукин нес ее в себе.

— Принесла? — спросил Стас. Она, молча улыбаясь, протянула ему сумку.

— На посошок, — сказал Стас, вытаскивая бутылку "Киндзмараули".

Они стояли у вагона и пили. Оказалось, что у них всего два стакана, и Стасу позволили пить из горла. Пили маленьким глотками, чтобы выпить не раньше, чем Штукин войдет в вагон.

— Ребята... — растроганно повторял Штукин, — ребята...

— Не перепутайте, кто провожающие, кто пассажиры, — сказала им проводница.

— Спасибо, ребята, — сказал Штукин и обнялся со Стасом. Объятие вышло настоящим.

— До свидания, — сказал Штукин, поворачиваясь к Инне. Она улыбнулась и подала ему руку. Штукин наклонился, словно собираясь поцеловать эту руку, но тут же выпрямился и отчаянно прикоснулся губами к ее щеке. Стас поспешно засмеялся, а она исподлбья лукаво взглянула на Штукина, тихо сказала: "Приезжайте", и слово это еще долго грело его.

1971